

Цари и инопланетяне

В каждой деревне есть свой царь.

Нашего зовут Леонидом.

Бабушка, говорят, в нём души не чаяла, холила-лелеяла и называла царевичем и царёнком. Вырос — стал Царём. И лишь на очень поверхностный взгляд может показаться, что ничего, кроме иронии, в этом прозвище нет. Этим поверхностным взглядом можно увидеть только невеликой красоты мужика, несколько не похожего на царя-короля, даже на такого, каким его изображают в сатирических сказках. Брутальная щетина а-ля актёр Машков и всесезонный камуфляж — общие признаки мужской половины жителей сегодняшней сельской России. И наш Царь такой же, как все: обходится без мантии.

Но сказать, что он похож на своих подданных, было бы неправильно, поскольку подданных у нашего Царя нет. Он сам себе царь. Очень даже можно быть царём и без подданных. Посмотрите на него, когда он сидит на берегу, ждёт воду. Дождь, снег, ветер — неважно, сидит вальяжно, грудь нараспашку, улыбается. Никуда не спешит, не суетится, не нервничает. Здесь всё — его, всё — обжито, всё — ему впору, подогнано по росту и по душе. Царство здесь его, королевство. Сидит Царь на своём берегу, смотрит на своё море и на своё небо. Царствует.

Но вообще-то, хотя Царём в нашей деревне прозвали одного Леонида, на самом деле у нас каждый — царь. Или царица.

Жители в нашей деревне меньше, чем в одном подезде девятиэтажного дома. Но если в городе всех своих соседей никто не знает, то “в деревне виднее природа и люди”, — прав Николай Рубцов. Тем более — в нынешней стремительно обезлюдившейся деревне. Тем более — зимой. Выйдешь декабрьским вечером прогуляться (по дороге чаще всего вполне можно пройти, особенно если не метель и если недавно Виктор Николаевич на тракторе проехал), и каждый живой дом, светящийся окнами, ещё одну рубцовскую строчку шепчет: “В этой деревне огни не погашены...” Только вот мало таких домов. На шесть-семь тёмных, засыпанных снегом, оживающих только летом, — один обитаемый.

Зато как драгоценен каждый из этих домов, как противостоит он окружающему мраку и холоду! Как хрупка и одновременно могуча эта пульсирующая, светящаяся точка — одушевлённый человеком-царём тёплый, благословенный дом! И целый мир вокруг него: двор, усадьба с баней, сараями, огородом. Вселенная. А за пределами этой вселенной — снег, глушь, безлюдье на многие десятки и сотни километров: леса, болота, море...

И человек совсем по-другому себя ощущает, чем в большом городе. Какой-то у него иной здесь вес и иная мера. С одной стороны, вроде бы наплевать всем властям на деревню: и хлеб привозят зимой только раз в неделю, и фельдшер тоже раз в неделю на несколько часов приезжает, а врачей не бывает никогда, школу закрыли, свет то и дело гаснет. А уж дорогу до колодца самим надо в снегу торить, как и тропинку до родника. И содержать этот колодец в порядке. И много чего ещё — только самим, никаких коммунальных служб здесь нет, и жаловаться не на кого, да и некому. То есть, конечно, жаловаться можно сколько угодно и кому угодно. Можно — президенту. А можно — в бывший сельсовет, нынешнюю администрацию муниципального образования — сельского поселения. Туда даже съездить можно, если очень захочется. Правда, сначала надо проехать тридцать километров до реки Онеги. Потом перебраться через реку Онегу в город Онегу. Потом из города Онеги два часа ехать на дежурке до станции и посёлка, который есть центр нашего этого самого муниципального образования. За день обернуться непросто. Зато зимой, у кого машина есть, совсем легко доехать — напрямую, по зимнику. Только зачем?..

То есть вроде бы должен человек при таком к нему отношении чувствовать себя ущемлённым, обиженным, злобою злого мира озлобленным. Но это — с одной стороны, совсем не главной. Потому что с другой, как раз главной, — когда не на кого рассчитывать, то ни от кого ничего и не ждёшь. И живёшь сам, независимый и свободный. Относительно, конечно, свободный, но всё же...

Народ в нашей деревне в основном коренной, поморский. Писатель Алексей Варламов, у которого есть рассказ о соседнем селе, где он бывал в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века, упоминает, что живут там, в основном, потомки ссыльных. Местных, дескать, практически нет. А в нашей деревне у сегодняшних её жителей — те же фамилии, что упоминаются в переписях XVIII–XIX веков. Те же, что выбиты на мраморной плите обелиска: семьдесят пять не вернулось с Великой Отечественной. Семьдесят пять солдат, у многих фамилии одинаковые: и родные здесь, и одноклассники. Двадцать восемь фамилий на семьдесят пять имён.

Сыльные и у нас были, но почти все, когда стало можно, вернулись в родные края. Да и не много их было. Но всё же были, конечно, как не быть. Вот, например, у Александра Порфирьевича отец из ссыльных. Мама — поморка, а отец — курский крестьянин. Александр Порфирьевич, когда рассказывает о своей долгой — ему уже за восемьдесят — жизни, часто упоминает о том, что отец был сослан в наши края. А мы слушаем и киваем: понятно, да, сослан... И только недавно что-то такое зацепило, дата какая-то всплыла, и я спрашиваю:

— Когда же, дорогой Александр Порфирьевич, вашего батюшку сослали?

— А в девятьсот пятом, — отвечает. — Мужики усадьбу помещика сожгли, а потом, когда разбирательство началось, сказали моему отцу, тогда

ему всего шестнадцать лет исполнилось: “Семья у тебя нет, детей нет, возьми вину на себя”. Он согласился, и вот его сюда и сослали.

Из рассказа Александра Порфирьевича следует, что отцу его в Поморье понравилось, даже удивительно ему было, что дома такие большие и чистые, с деревянными, а не земляными полами, и скот не в избе вместе с хозяевами зимой обретаётся, а в поместительном хлеву, в хозяйственном дворе, пристроенном к дому. До революции Порфирий Трофимович успел сходить на промысел на зверобойной шхуне “Дмитрий Солунский”, и так удачно команда напромышляла, что на вырученные деньги молодой новоиспечённый помор смог не только в деревне, ставшей его второй родиной, дом построить, но и в Онеге купить домик.

Обжился здесь Порфирий Трофимович, корни пустил. И уезжать никуда не захотел. На Первой мировой отвоевал и вернулся сюда, на Белое море. А сын его, Александр Порфирьевич, от родной деревни неотрываем. Правда, вот уже третий год приходится ему с женой Изабеллой Ефимовной уезжать на зиму в Онегу, хотя и медлят с отъездом до снега, до морозов. Прежде они много лет одни в своей части деревни — в Павловском Бору — зимовали. Снег так засыпал их горушку, что до магазина только на лыжах можно было дойти. А теперь, когда и Александр Порфирьевич с Изабеллой Ефимовной и собакой Лаской, дотянув до самого предзимья, всё же уезжают на несколько месяцев в городскую квартиру, все девять домов Павловского Бора засыпают до весны. Спят и во сне — чутком, стариковском — ждут приезда хозяев: кого — в отпуск, ненадолго, а кого, кто на пенсии, и на полгода.

Александру Порфирьевичу было восемь лет, когда война началась. Недавно школьница брала у него интервью и, глядя в бумажку с заранее заготовленными вопросами, поинтересовалась:

— К какой категории вы можете себя отнести: труженики тыла или дети войны?

— А и так, и так, — ответил Александр Порфирьевич. — И труженик тыла, и ребёнок войны.

Так и работал с тех пор, не покладая рук. Спустя много лет он и председателем колхоза стал. Ему даже медаль хотели дать за хорошую работу. Но тут случился казус: Александр Порфирьевич проявил, с точки зрения районного начальства, своеволие.

Он категорически отказался, несмотря на приказ этого самого начальства, разгрузить пароход, подошедший к деревне (точнее — вставший на рейд, потому что к самому берегу не подойти, мелко) с грузом водки. Больше ничего не привезли, зато ящиками с водкой была заставлена вся палуба. Александр Порфирьевич сказал капитану, что такой груз принимать не будет. Но назавтра, отодвинув его в сторону, прибывшие из Онеги деятели всё же организовали водочный десант: денег не было в районе, чтобы зарплату людям выдавать, а иных способов, кроме как аккордной продажи колхозникам несусветного количества водки, не находилось.

Вскоре первый секретарь райкома сообщил Александру Порфирьевичу, что его награждают медалью, которую, он, правда, по мнению этого партийного руководителя, не заслужил. Видимо, решение о награждении приняли до инцидента с водочным пароходом.

— Наградить мы тебя наградим, — сказал секретарь, — но вроде как авансом: отработать должен награду.

Александр Порфирьевич медаль на таких странных условиях не принял и вынудил начальство переоформить её на вдову погибшего репрессированного односельчанина.

...А из ссыльных советского времени или их потомков в деревне, пожалуй, и не осталось никого. Всё больше дети и внуки тех, чьи фамилии выбиты на обелиске. Или на памятном камне, который поставили несколько лет назад возле кладбищенской церкви Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев, выходцы из общего фамильного гнезда, живущие сейчас в разных концах страны, но собравшиеся в деревне, чтобы помянуть весь свой род. На этой высокой каменной плите изображено обширное генеалогическое древо, в основании которого — общий предок, родившийся в 1730 году.

На высоком утесе над морем потопки отважного морехода, полярного капитана, родившегося в нашей деревне в 1869 году и от этих берегов ушедшего к Новой Земле, установили памятный камень. А неподалёку от обелиска павшим — камень и плита, увековечившие имя другого здешнего уроженца, генерал-полковника, появившегося на свет в 1902 году и во время Великой Отечественной войны командовавшего (тогда он был полковником) стрелковой дивизией, а потом — корпусом. Есть и большой деревянный крест: парит над морем, как те поклонные кресты, которыми раньше вгустую берега Белого моря были уставлены. На кресте — надпись: “Поморам — корабелам”, а у подножия — якорь.

В общем, не помнящими родства нынешних потомков этих поморов-корабелов никак не назовёшь.

И тех, кого жизнь из деревни увела, тянет, как всех нормальных людей, на родину. Иногда родная деревня и сама зовёт — так явственно, что не слышать этот зов невозможно. Причём иной раз такие ходы придумает, чтобы человеку восточку с родины передать, — диву даёшься!

К Александру Порфирьевичу и Изабелле Ефимовне на протяжении уже многих лет ежегодно приезжает возлюбивший эти поморские земли паче всех краёв на свете москвич, полковник. Однажды он навещал в одном из столичных госпиталей своего товарища и в разговоре упомянул, что вернулся недавно из очередной поездки на Север. И деревню назвал. Услышав имя деревни, встрепенулся пожилой человек на соседней койке. Оказалось, что он в этой своей родной деревне не был уже лет сорок.

— Поедем! Отвезу! — загорелся офицер.

— Поедем! — решительно отозвался зовомый, который оказался тоже полковником, лётчиком морской авиации в отставке, и притом уже не молодым, а откровенно старым: ему на ту пору было без малого девяносто лет.

И приехали.

Девяностолетний юбилей полковник морской авиации Иван Алексеевич отметил в родной деревне.

И упокоиться многие хотят здесь, дома.

В прошлом году самую старую жительницу деревни, Руфину Петровну, скончавшуюся в девяносто семь лет, привезли из Мурманска, чтобы похоронить на родине. Каждый год ранней весной приезжали они с дочерью в деревню, а уезжали в Мурманск поздней осенью. А в прошлом году пришлось возвращаться — Руфине Петровне уже в последний раз и навсегда — в начале зимы. Трудно было попасть: Онега только-только ещё встала, лёд некрепкий, переправа не открыта. Но перевезли, конечно, помогли соседи. Потому как это не блажь и не прихоть: чувствует душа, что от родимой деревни до небесного града как будто бы и поближе, чем из других мест.

По прихоти к нам тоже ездят, и много. В основном летом, конечно. Туристы-экстремалы и просто туристы, фотографы, киношники, журналисты, художники. И иностранцы всех мастей, ценители и любители всего натурального, экологджикэлли. Фотографируют, рисуют, на камеру снимают. Ценится нынче дикая природа и всякая первобытная экзотика утомлённым цивилизацией миром.

А туристы-экстремалы норовят дальше по побережью проехать, до Карелии. По карте-то если смотреть — недалеко и просто. И зимник нарисован, и по самому берегу, как предполагается, можно ехать и идти. Только вот не зря ещё Михаилу Михайловичу Пришвину в начале XX века поморы говорили, что отделены они от всего мира: “Впереди — вода, сзади — мох”. Вода — понятно, море, а мох — это болото. Заболоченными бывают и берега моря. Вот по таким и пытаются проехать экстремалы.

В смысле дорог у нас за сто с лишним лет кое-что изменилось, конечно. Но не везде. И не так чтобы очень. То есть проехать по берегу до Карельского побережья решительно нельзя. Разве что на квадроциклах или их самодельных аналогах — каракатах. И лучше — во время отлива, по куйвате. Но для этого надо хорошо знать, где можно проехать, а где — никак. Потому что тонко, няша, засосёт.

И это — тоже не проехать — местные жители терпеливо, раз за разом, пытаются втолковать отчаянным путешественникам. Вотще — не внемлют. А один столичный житель в этом году на увещевания Михаила Александровича: дескать, куда вы, зачем, да ещё и с сыном, ну и что, что у вас внедорожник, против наших болот ни один джип не сдожит, разве только вездеход, — глядя куда-то вдаль поверх головы Михаила Александровича, ответил: — Вам не понять, мы — в другом измерении.

Опешил слегка Михаил Александрович, а про себя подумал: “Ну, в другом, так в другом”. И стал ждать звонка. Потому как знал: летящие пулей через деревню сверхавтомобили инопланетян километров через пять-шесть намертво застревают и выбраться сами не могут. А потому их надо вытаскивать. Для этих целей только ГТС (гусеничный тягач средний) годится. Есть такой в соседней деревне. А дальше и рассказывать неинтересно — вытаскают, конечно. Не оставлять же людей в их другом измерении, приходится спасать.

Планета Калининых

По утрам, вальяжно распивая кофий, поглаживая кота и почёсывая за ушами собаку, глядя на умиротворяющий огонь в русской печи и слушая уютное потрескивание поленьев, мы решаем никуда не торопиться и посвятить день милой праздности на лоне природы, а ежели погода длительным прогулкам не благоприятствует, — то необременительным домашним занятиям. Благо, у нас и по дому гулять можно: обойдёшь по кругу все десять окон, налюбуешься и на отреставрированный храм с пятью покрытыми осиновым лемехом главками, и на таинственное озеро в обрамлении деревьев, и на удивительной красоты бескрайнее болото, и на лес, и на Высочиху, и на поленицу Виктора Николаевича, стоящую на высоком холме, — тоже очень красивую. И на море, конечно. И на небо.

Каждый день, да и каждый час вид из окон разный. Никогда не надоест любоваться.

Но тут в нашу утреннюю негу врывается отрезвляющее “трр-трр-трр-трр”: Виктор Николаевич из гаража на тракторе выезжает. Так давно они вместе — Виктор Николаевич и трактор, так обихожен “шассик”, столько вложено в него трудов, заботы и внимания, так безотказен он, благодарно отзывающийся неустанным трудом на доброе попечение хозяина, что видится уже не машиной, а живым существом. Александр Васильевич его Коньком-Горбунком называет. И за безотказность, и потому, что он может, кажется, всё, всем нужен и всем помогает. Первым делом — привезти-отвезти что-то габаритное, а понадобится — и людей (в тележку много народа может поместиться); машину застрявшую вытаскать (если только она не совсем в топь залезла, откуда только ГТСКА извлечь может); дорогу зимой проложить, а то и не пройти иначе по деревне, когда снегу, как, например, нынешней зимой, насыплет и наметёт щедрее щедрого. А недавно мы увидели знакомый трактор во главе скорбной процессии: и катафалком, оказывается, ему доводится служить.

Поскольку гараж тоже виден из наших окон, то трактор мы не только слышим, но и знаем, в какую сторону он поехал. Дела у них с Виктором Николаевичем могут быть всюду. Если отправятся на запад, в лесную сторону, то предстоят заботы с дровами. Либо за ягодами народ повезли. А раньше, когда корову держали, в эту же сторону и на сенокос ездили. Если в ту же западную сторону, но по другой дорожке, — значит, либо на картофельные поля: пахать, навоз возить, боронить, а осенью — убирать картошку не только на своём поле, но и несколькими соседям помочь. Либо — с флягами на тележке — за водой на колодец или на родник. На север, в морскую сторону заторопился “шассик”, — значит, на тоню, на рюжу. А на восток, по деревенской дороге, по разным надобностям ездить приходится.

Деревенской у нас называют дорогу, ведущую в соседнюю деревню, которая за километр и вместе с которой наша деревня образует одно село с одним общим названием. У каждой из деревень есть и свои названия, но никто

из местных жителей ими не пользуется. Наши говорят: “Пойду в деревню”. И жители соседней деревни, когда собираются в нашу, тоже говорят: “Пойду в деревню”. Для нас та деревня — деревня, для них — наша. При этом свою деревню никак не называют: это точка отчёта и центр мира, в обозначениях не нуждается.

Один из вечных вопросов, дискуссии по которому ведутся у нас постоянно, — которая деревня лучше. Это только приезжему человеку может казаться, что спорить не о чем, что деревня по сути одна, из двух частей состоящая, что хороши обе и хорошо в обеих. То есть с последним-то и местные жители согласны, но всё же у тех, кому здесь с детства каждая пядь родимого пространства знакома до малейшей детали, находится множество доводов в пользу именно своей деревни. При этом другую деревню не хают, нет. Просто со всей убеждённостью утверждают: наша лучше.

Деревенская дорога за околицей переходит в грейдер, который связывает нас с “большой землёй”: километров через тридцать — переправа через реку Онегу в город Онегу. А на протяжении этих тридцати километров — сосновые боры, озёра, болота, и волнушечные места, и грудёвые, и брусничники, и черничники, много всего хорошего, есть куда и зачем ехать.

В южную сторону далеко не уедешь — вскоре Никольский мох, большое болото начинается, но если трактор затарахтел под угор к озеру, значит, повёз Нину Алексеевну бельё полоскать. Особой-то нужды в том нет: стиральная машина-автомат сама полощет, но Нина Алексеевна уверена, что на озере получается лучше, чище.

...В общем, почти каждый наш трудовой день начинается по сигналу трактора. Ленишься, имея перед глазами таких соседей, как Виктор Николаевич и Нина Алексеевна, трудно. Не зря раньше писали над фотографиями ударников в газете или на Доске почёта: “Наши маяки”. Маяки и есть. Поэтому что светят и путь показывают.

Несколько лет назад я записала последовательно все дела Нины Алексеевны в течение одного сентябрьского дня. Получилось вот что.

В пять утра она сходила на рюжу, почистила пойманную рыбу, затопила печь, подоила корову, испекла шаньги и приготовила обед. Выстирала две корзины белья и выполоскала его в озере. В десять утра отправилась с Виктором Николаевичем картошку копать. С перерывом на обед копали до шести вечера, между делом Нина Алексеевна опять сбегала на море — рюжу проверить. Вечером чистила и жарила рыбу, собрала огурцы и закатала несколько банок, в восемь вечера подоила корову и приготовила ужин.

И сейчас ежедневных дел и забот у неё не меньше. Разве что обряжаться с коровой больше не нужно: сделали уступку годам, отказались от коровы. Но зато больше времени остаётся у Нины Алексеевны на главное — на море.

— Это болезнь, — говорит она о своей рыболовной страсти, словно оправдываясь. Но дело тут, думается, не только и не столько в рыбалке, сколько в самом море. Всё же именно оно, а не рыба властно влечёт к себе Нину Алексеевну. И это на его зов торопится она на берег в любую погоду и в любое время года. Ветер — не ветер, холод — не холод, всегда есть у неё дела на море, не только летом, но и глубокой осенью, и зимой.

Море она любит самозабвенно.

У нас в деревне все поморы, все морем живут, все с ним сроднились, но такую тягу к морюшку, как у Нины Алексеевны, встретишь не часто.

— Она рыбачка! — говорит Александр Порфирьевич как-то особо торжественно и уважительно. — Рыбачка!

И море Нину Алексеевну любит.

Всякое, конечно, бывало. И на льдине уносило, и осенней ночью на машине, когда ехали с сыном Василием на малой воде из соседней деревни по куйвоте, сбились с пути и поехали в сторону моря; машина застряла, сами еле выбрались — вода уже начала прибывать, немало и тонут так-то.

И всё же любит Нину Алексеевну море. Потому что лечит. Силы даёт.

— Сижу — говорит, — зимой дома день-два, носки вяжу, шерсть пряду. И до того досижу — и тут заболит, и там заболит. Брошу всё — и на море!

Ныннешней зимой навага хорошо ловится и под угором возле деревни, никуда не надо попадать на машине или на тракторе, спустился с берега — и лови. Вот Нина Алексеевна душеньку и отводит.

Даже кашель-насморк лечит она морем. Приболели они недавно с Виктором Николаевичем. “Я-то, наверное, быстрее поправлюсь, — размышляет Нина Алексеевна. — Витя-то лежит, а я-то на рыбалку хожу. На свежем воздухе скорее выздоровеешь”. А уж голову, когда заболит, чем и лечить, если не морем!

Как-то в ноябре — уже пуга появилась — Виктор Николаевич жену потерял. Вернулся домой — куда-то по делам на тракторе ездил, — а хозяйки дома нет, и записки никакой не оставила. Только палка приставлена к двери — ушла, мол.

Час прошёл, два прошло — нету. Если бы за водой на родник ушла — давно бы уже вернулась. К сестре если в соседнюю деревню — позвонила бы от неё. Да и пешком редко туда Нина Алексеевна ходит, надо когда, Виктор Николаевич на тракторе отвозит. В нашей деревне к кому в гости зашла — так почти не ходит она просто так по гостям, а если зайдёт кого болеющего навестить или по какой другой надобности, то долго не сидит, давно бы уж вернулась.

В общем, к исходу третьего часа Виктор Николаевич уже догадывался, где может быть его половина. Хотя и сомневался всё же: что делать-то сейчас на море? Сети и рюжи убраны давно. А для подлёдного лова рано — льда-то нет ещё. Конечно, на берегу всю осень, пока льдом и снегом не закрыло песок, копают на зиму червей. Но на малой воде, понятное дело, копают. А сейчас уже полная вода — негде копать. И что же Нина Алексеевна на берегу может делать? Собрался уже ехать проверить, но тут она и пришла.

Оказывается, зимней удочкой, стоя в высоких сапогах — броднях — по колено в воде, навагу ловила. Мы-то с Александром Васильевичем камбалы и навагу на удочки в море ловим, но, конечно, донками с катушкой и грузилом. Забрасываем с берега подальше. И не в ноябре. А Нина Алексеевна с Татьяной Михайловной решили зимними удочками половить. Невмоготу как захотелось порыбачить! За три часа на холодном ветру одну наважину на двоих поймали. Но вернулась Нина Алексеевна домой радостная и счастливая. Глаза блестят, щёки румяные. Любит море Нину Алексеевну.

Виктор Николаевич к рыбацкой страсти жены относится с пониманием и уважением. Если долго нет её с тони — иной раз приходится часами чистить от туры рюжи и сети, — встречать едет, и воду привезёт: знает, что устала Нина Алексеевна, пить захотела. И колья для снастей в нужном количестве заготовит Виктор Николаевич, и рюжу на берег на тракторе отвезёт, и установит вместе с Ниной Алексеевной.

...Хорошо нам рядом с Виктором Николаевичем и Ниной Алексеевной, всё у них ладно и складно, за долгие годы — почти полвека — притёрлись друг к другу и стали, как и положено супругам, единым целым. Из двух очень самостоятельных и независимых половинок состоящим.

У Виктора Николаевича — трактор, у Нины Алексеевны — море.

И у обоих — родная деревня со всеми её ближними и дальними угодами, целый огромный мир, их вселенная, их планета, в центре которой — дом. Для Виктора Николаевича — это родимый, родительский дом. А Нина Алексеевна в соседней деревне, в той, которая за километр, родилась. Потому иногда, когда её спросишь, как та или иная часть окружающего деревню мира называется, говорит: “Не знаю, я же не из этой деревни, надо Витю спросить”.

Покидать свою планету, пусть и на короткое время, Виктор Николаевич и Нина Алексеевна не любят. Особенно Нина Алексеевна. Даже в райцентр, в Онегу, где живёт сын Василий с семьёй и куда иной раз всё же обязательно надо выбраться — к врачу, например, — ездит она очень и очень редко. Тем паче — в ещё более дальние края. Дочь, которая в Архангельске живёт, сама по несколько раз в год к родителям приезжает. И внуки приезжают. И другая родня.

Виктор Николаевич тоже особо не рвётся путешествовать. Предпочитает ездить в радиусе, доступном верному тракторочку. Но всё же иногда приходится в путь отправляться — мужская доля такая. В армии, например, он служил в Германии, тогдашней ГДР. А несколько лет назад они с сыном Василием предприняли поездку в Воронежскую область. Туда, где в братской могиле похоронен отец Виктора Николаевича, Николай Михайлович, солдат Великой Отечественной. Виктор Николаевич отца не видел никогда: он только ещё собрался родиться на свет в 1942 году, когда отец ушёл на фронт. Только недавно узнал Виктор Николаевич, где он похоронен: поисковики сообщили. И поехал поклониться. И за то, что жизнь ему дал, а значит — и детям его, и внукам, и всем, кто потом народится от них. И за то, что защитил, не отдал врагам, сберёг для сына, внуков и правнуков родную страну. И вот эту деревню на берегу Белого моря, из которой и он, Николай Михайлович, не будь войны, никуда бы по своей воле не уехал.

Форпост

Посреди нашей деревни стоят чудом пережившие последнее столетие две деревянные церкви и колокольня. Также, конечно, деревянная. В северных сёлах раньше такие погосты обычно и строили: зимнюю церковь, летнюю церковь и колокольню. Их называют “северными тройниками” или “архангельскими тройниками”.

Село наше в документах упоминается с середины XVI века. И церкви старые. Никольская построена в 1636 году, а Введенская — в 1793-м. Колокольня помоложе, но ей уже тоже больше полутора веков. До революции церкви возносили к небу каждая по пять глав, а колокольня увенчивалась куполом со шпилем.

А потом было всё, как по всей стране: церкви закрыли, священника арестовали. И, как по всей стране, главки с храмов начали сшибать. Но не досшибали. Введенскую церковь обезглавили, а на Никольской две главки остались. Потому как подрубивший первые три главки святотать увидел, — с крыши церкви, конечно, вся округа видна, — что его дом загорелся. И бросился в дом, чтобы вынести ценности: говорят односельчане, что было у него в чулане золота припрятано. И погиб в огне.

А колокола с колокольни — их двенадцать было — сняли и отправили на переплавку (рассказывают, что не довели: шторм опрокинул лодки, колокола и те, кто их вёз, утонули в море).

Раньше мне доводилось часто ездить по северным деревням, по разным районам нашей воистину необъятной области, и везде рассказывали похожие истории об односельчанах, разрушавших церкви или часовни и либо внезапно обезручевших, либо ослепших, а то и погибших. Реальные случаи, не легенды: в ту пору ещё и очевидцы были живы, так что рассказывали точно и подробно.

...Никто после этого не рискнул оставшиеся две главки на Никольской церкви тронуть. Так и стояла с тех пор с неприступным двузубцем, пока не отреставрировали её несколько лет назад. Сейчас все пять глав сияют на солнце осиновым лемехом, как чистейшим серебром. Туристы, кто никогда таких осиновых “чешук” не видел, бывает, спорят: не может быть, говорят, что они никаким металлом не покрыты.

А колокольня за прошедшие десятилетия — без малого век — как только не послужила людям! В годы войны она вообще приобрела стратегическое значение: на ней круглосуточно дежурили солдаты стоявшей в деревне воинской части и неотрывно смотрели в бинокль — и в сторону моря, откуда, случалось, прилетали фашистские самолёты, и за болото, где была проложена железная дорога, ведущая к Карельскому фронту, самому протяжённому и самому труднодоступному (и с тыла, между прочим, тоже) фронту Великой Отечественной. Туда, на железную дорогу, значение которой для фронта было важнейшим, диверсанты всякие стремились, подрывники.

Почти всю войну пограничники стояли в деревне. Александр Порфирьевич тогда мальчишкой был, девять лет ему исполнилось, когда война началась.

И, конечно, к солдатам тянуло его неперодолимо. Они и оружие позволяли в руках подержать — незаряженное, разумеется, — и мелкие поручения давали: записки, например, от солдатика, дежурившего на колокольне, отнести приглянувшейся тому местной девушке.

Дом, в котором рос Александр Порфирьевич, стоял совсем рядом с церквями и колокольней, и потому, наверное, с детства чувствовал он особую близость к этим, с пионерской точки зрения, не столько церковным (не застал Саша церковных служб в храмах и колокольного звона не слышал), сколько общественно-полезным постройкам, неотделимым от его родной деревни. Они были неременной и обязательной частью его детского мира. А когда колокольня превратилась в дозорную башню, в сторожевую вышку, её ценность в глазах Саши неизмеримо возросла: как же — военный объект!

После войны школу окончив, в армии отслужив (отец иконой благословил, провозжая, что было принято новобранцем со снисхождением к отцовским старорежимным представлениям), Александр Порфирьевич вернулся домой.

Был он видным и бравым, и потому, затмив всех соперников, завоевал сердце молоденькой учительницы начальных классов, красавицы с добрым и лёгким нравом. Деревенская малышня, в ту пору весьма многочисленная, свою учительницу обожала и старательно выговаривала её необыкновенно красивые, как она сама, имя и отчество: “Иза-бел-ла Ефи-мов-на”.

Изабелле Ефимовне было девятнадцать лет, когда её, родившуюся и выросшую в посёлке возле города Онеги, направили сюда, в нашу деревню, где она сразу стала не только учительницей, но и директором начальной школы.

— Боялась, конечно, волновалась, — рассказывает она, вспоминая свой первый рабочий день, который случился шестьдесят лет тому назад. — Поздно вечером, уже ночью почти, 31 августа пошла в школу. В класс зашла, свет включила, встала перед рядами пустых парт и говорю: “Здравствуйте, дети!” Отрепетировала.

Но всё пошло хорошо: дети её сразу приняли и полюбили, потому что она их любила. И сейчас говорит, что ни одного плохого ученика у неё не было, все хорошие.

Зажили Александр Порфирьевич и Изабелла Ефимовна семьёй, сына и трёх дочерей воспитывали и работали: он — в колхозе, она — в школе. Александр Порфирьевич и на рыбзункте бригадирил (тяжёлый труд: выгружать-загружать, потрошить, морозить, солить центнеры рыбы), и председателем колхоза был. Пятнадцать лет в деревне отработали, а потом в Онегу перебрались, там Александр Порфирьевич тоже бригадиром был, но уже плотников, а Изабелла Ефимовна и завучем в школе работала, и директором.

Но через семнадцать лет вернулись в деревню, в дом возле храмов и колокольни. Тихой, безмятежной пенсионерской жизни не получилось: колхоз разваливался. И колхоз, и колхозные постройки, и весь привычный уклад жизни, а у кого-то — и души. Подруга и соседка Александра Порфирьевича и Изабеллы Ефимовны, Лина Григорьевна, написавшая немало статей и несколько книг о родной деревне, так вспоминала эти годы: “К 2001 году в деревне власти не было никакой — ни белой, ни красной. Ферма, гараж, маслозавод, два с половиной километра водопровода, колокольня, пилорама, пожарная машина — всё было разрушено. Процветали пьянство и воровство”.

Смотреть на всё это было больно. Особенно Александру Порфирьевичу было жаль колокольню: в руины превращалась, вот-вот упадёт. Ни купола, ни крылечка. Выглянет Александр Порфирьевич в окно или выйдет из дома — так в глаза и бросается, словно укоряет: ну, что же ты, мол, забыл, как в войну мной гордился, как потом невесте показывал с моей звонницы всю красоту мира, как дети твои играли возле моих стен?

И когда жители деревни взяли власть в свои руки — создали общественный совет — Александр Порфирьевич с Изабеллой Ефимовной (которая в этот совет, конечно, вошла) подумали, посчитали и сделали проект и смету. Удалось немного денег найти на материалы, и Александр Порфирьевич с помощниками упорными и бесстрашными муравьями потянули доски на двад-

цатишестиметровую высоту. И купол сделали, и крест вознесли, и лестницу внутри удобную, с перилами соорудили, и крылечко.

Но мало было отстроить, оказалось — нужно ещё и охранять. Колокольная прямо-таки магнитом, неудержимо притягивала к себе развесёлые компании. Сыпались сверху бутылки и окурки, далеко над деревней, ошеломлённой развалом и разгромом “перестройки”, разносились крики и дикий хохот. Но мало было веселья в этих бесчинствах. Были пустота и отчаяние. Рушилось всё вокруг, и хотелось доломать остальное. Колокольную, например.

Александр Порфирьевич и днём, и пуще того — ночью досматривал за колокольной, чтобы не разломали и не сожгли. Было раз — прямо на звоннице костёр развели, еле успели загасить, не дали пожару разойтись: уже обшивку огонь лизал, и сейчас видны закопчённые доски. И сбрасывать с колокольной Александра Порфирьевича пытались — мешал “отдыхать”, всё что-то объяснить пытался — про память, про красоту. А в другой раз подгулявший парень пошёл на Александра Порфирьевича с топором: не понравилось ему, что тот не дал доски оторвать от Введенской церкви, в ту пору — клуба. Видно, очередной костёр надо было развести — не то на колокольной, не то возле её стен.

Александр Порфирьевич топор отобрал и пошёл домой. В милицию заявлять не стал. Один раз в подобной ситуации пытался, звонил милиционеру: колокольную, говорит, у нас поджигают, бесчинствуют. А милиционер удивился: “Зачем она нужна-то, колокольная? И чья она?” Ничего не смог объяснить Александр Порфирьевич милиционеру, как тут объяснишь? А колокольную успокоил: “Раз ты ничья, то, получается, — моя. Не бойся, отобьёмся”.

Парень, который с топором кидался, приехал через несколько дней извиняться. Может, что и понял? В отличие от милиционера...

А на колокольной два года назад появились колокола.

Лучше всего их звон слышен в доме Александра Порфирьевича и Изабеллы Ефимовны.